

Упыри



18+

Александр Урсу

Александр Урсу

Упыри

<https://litres.ru/74144883>

SelfPub; 2026

Аннотация

Александр Сергеевич Пушкин — гений, бунтарь, игрок. Его жизнь — это бесконечная дуэль с судьбой: лицейское братство, южная ссылка, опала, всепрощающий разговор с царем, женитьба на первой красавице России и долги, растущие как снежный ком.

Но что, если его гибель была не случайной дуэльной ссорой, а хорошо спланированной казнью?

Содержание

От автора	4
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Упыри

От автора

Этот рассказ посвящается великому гению — Александру Сергеевичу Пушкину. Тому, кто вдохновил меня на творчество.

Александр Сергеевич не ошибся в своих надеждах: его помнят. Потомки не забыли. И пока звучит русский язык, пока бьются сердца тех, кто хоть однажды прикоснулся к его стихам, — он жив.

Я надеюсь, что этот рассказ позволит читателю по-новому взглянуть на жизненный путь великого поэта, увидеть за хрестоматийным портретом живого, страстного и ошибающегося человека.

Я уверен: пока потомки помнят и чтят таких людей — Россия будет столь же прекрасной и великой.

Урсу Александр Васильевич

Глава первая. «Выпуск»

9 июня 1817 года. Царское Село.

Солнце ударило в окна дортуара рано, по-летнему нагло, не спрашивая разрешения. За шесть лет воспитанники привыкли вставать затемно, при свечах, под окрик дядьки — а тут, в последнее утро, природа словно издевалась: смотрите,

мальчики, вот он, мир, в который вы так рвались.

Пуцин проснулся первым. Не от света — от тишины. За шесть лет он ни разу не слышал такой тишины в лицейских стенах. Ни храпа Кюхельбекера, ни бормотания Дельвига, который разговаривал во сне стихами, ни возни Илличевского, вечно перекладывающего под подушкой тетради. Тишина стояла торжественная, как в церкви перед венчанием.

Он сел, опустив босые ноги на холодный пол. Обвёл глазами ряды коек. Двадцать пять мальчишек, с которыми он прожил шесть лет в одной комнате. Двадцать пять братьев, ставших ближе, чем родные по крови. Завтра — нет, уже сегодня — они разъедутся. Кто в гвардию, кто в министерства, кто в далёкие губернии. И никогда больше не соберутся вместе. «Никогда» — слово, которое в семнадцать лет не укладывается в голове.

Он посмотрел на койку напротив. Пушкин лежал на боку, уткнувшись лицом в подушку, одеяло сбито в ком у ног. Спал или притворялся — не поймёшь. Всегда умел притворяться, когда не хотел разговоров.

— Александр, — негромко позвал Пуцин.

Молчание.

— Француз, вставай. Церемония через три часа.

Пушкин пошевелился. Из-под подушки вылезла рука, пошарила по тумбочке, наткнулась на огрызок пера.

— Не тронь, — пробормотал он, не открывая глаз. — Я сплю. И буду спать до самого чина коллежского асессора.

— До ассессора долго спать придётся, — хмыкнул Пушкин.

— Тебе пока только четырнадцатый класс светит.

— Вот и разбудишь, когда заслужишь.

Пушкин усмехнулся и принялся одеваться. За шесть лет он научился не спорить с Пушкиным по утрам.

Постепенно дортуар оживал. Первым поднялся Матюшкин — будущий моряк, всегда дисциплинированный, даже в последний день. Затем Вольховский — первый ученик, «Суворчик», как звали его за спартанские привычки. Кюхельбекер вскочил, опрокинув стул, запутался в одеяле, пробормотал что-то по-немецки. Дельвиг сел на кровати и замер, глядя в стену остановившимся взглядом, словно прощался с каждым кирпичом.

— Тося, ты живой? — спросил Пушкин, наконец открыв глаза.

— Не уверен, — ответил Дельвиг, не поворачивая головы. Никто не смеялся. Всем было не по себе.

Через час они выстроились в коридоре. Дядька, отставной унтер-офицер, обходил строй, поправлял воротники, одёргивал мундиры. Новенькие, с иголки, тёмно-синие, с красными воротниками и золотым шитьём. Шесть лет они носили затрапезные сюртуки и теперь чувствовали себя ряжеными.

Пушкин стоял в третьем ряду — рост не позволял встать в

первый, да и успехи не позволяли. Он теребил обшлаг мундира, и Пущин заметил, что манжета уже отпорота.

— Зашил бы, — шепнул он.

— Успеется, — отозвался Пушкин. — Всю жизнь теперь зашивать.

Он оглянулся по сторонам, вытянул шею, высматривая в толпе лицеистов знакомые лица. Данзас стоял справа, прямой как палка, — будущий офицер, одна из немногих судеб, которую Пушкин пока не мог предсказать. Корсаков слева, нервно поправлял ноты в папке — ему предстояло петь прощальный гимн. Яковлев стоял рядом с ним, и Пушкин слышал, как они вполголоса переругиваются из-за какой-то музыкальной фразы. Комовский, библиотекарь по призванию, шептал что-то о потерянной книге. Даже сейчас, в последний час, он думал о книгах.

Пушкин перевёл взгляд дальше. В первом ряду, на месте лучших учеников, стояли Вольховский и князь Горчаков. Горчаков — красавец, любимец профессоров, будущий дипломат. Уже сейчас он стоял так, словно принимал посыл. Вольховский, напротив, выглядел сурово, по-военному и мундир сидел на нём как влитой.

— Господа, прошу тишины, — дверь из зала приоткрылась, и инспектор Фролов поманил их рукой. — Их величество уже в зале. Не подведите Лицей.

Они вошли.

Зал дышал, колыхался, шелестел платьями и веерами. Родители, сановники, попечители, профессора — все собрались под высокими сводами, украшенными гирляндами из живых цветов. В первом ряду — министр народного просвещения князь Голицын, попечитель граф Разумовский. Духовник Лицея, отец Иоанн, стоял в стороне, сложив руки на животе.

Император сидел в кресле чуть поодаль, на небольшом возвышении. Александр Павлович в сорок лет всё ещё был хорош собой, но что-то в лице его уже увяло, словно от постоянной усталости. Он сидел ровно, положив руки на подлокотники, и смотрел перед собой отсутствующим взглядом. Ему было скучно. Всем императорам скучно на выпускных церемониях.

Пушкин заметил этот взгляд. И император заметил, что его заметили. Их глаза встретились на мгновение. Пушкин не отвёл взгляда — он никогда не отводил взгляда, даже перед государем. Император чуть прищурился, словно запоминая. И перевёл глаза на первого ученика.

Директор Энгельгардт вышел на кафедру. Егор Антонович — немец, педантичный, строгий, но любящий их по-своему. Он зачитал отчёт. Цифры, списки, успеваемость. Родители напряжённо вслушивались в каждое слово — чей сын лучше, чей хуже, кому какой чин.

Пушкин не слушал. Он смотрел в окно. Там — парк, ал-

леи, Екатерининский дворец вдали. Он знал каждое дерево, каждый поворот дорожки. Шесть лет он прожил здесь, не выезжая никуда — ни на каникулы, ни на праздники. Родителей он видел редко, от случая к случаю, и уже привык к мысли, что настоящая семья — вот эти двадцать четыре мальчишки, которые сейчас застыли рядом с ним, боясь шелохнуться.

— ...воспитанник Пушкин Александр, — голос секретаря вырвал его из задумчивости. — Четырнадцатый класс, коллежский секретарь.

По залу пробежал шепоток. Четырнадцатый класс — низший в Табели о рангах. Это не давало даже личного дворянства. Отец Пушкина, Сергей Львович, сидевший в третьем ряду, нервно сжал перчатку. Кто-то из сановников переглянулся с соседом — от такого таланта ожидали большего, но Бог с ним, с талантом, дисциплина важнее, а дисциплины у Пушкина не было никогда.

Пушкин принял новость спокойно. Лишь желваки дрогнули на скулах. Он знал, что так будет. Куницын предупредил его ещё зимой: «Ваши стихи, Пушкин, не заменят аттестации. Чины даются за службу, а не за рифмы».

Куницын... Вот кто сейчас выходил на кафедру.

Александр Петрович Куницын, профессор нравственных и политических наук, был невысок, сухощав, с горящими глазами. Он не носил парика, и его собственные волосы, тёмные и жёсткие, топорщились в разные стороны, придавая ему вид вечно взволнованный. Лицеисты любили его больше

всех. Он учил их не закону Божьему, не риторике, не математике — он учил их свободе. Осторожно, в рамках дозволенного, но так, что эти рамки начинали трещать.

— Выпускники, — начал он, и голос его, негромкий, но ясный, прозвучал в тишине, как удар колокола. — Шесть лет назад вы вступили в эти стены детьми. Сегодня вы выходите из них — нет, не мужами. Гражданами.

Он помолчал, обводя их глазами.

— Вам многое дано. Знания, которые вы получили здесь, редки не только в России — в Европе. Вам дали языки, науки, историю, философию. Но важнейшее, чему мы пытались вас научить, — это умение мыслить. Ибо человек, не умеющий мыслить, подобен слепцу с посохом, который бредёт, не ведая пути. А человек, умеющий мыслить, но боящийся это делать, подобен зрячему, который добровольно закрыл глаза.

Пушкин слушал затаив дыхание. Он знал: Куницын рискует. При дворе не любили таких речей. Даже сейчас, в этом зале, среди цветов и парадных мундиров, каждое слово ловилось невидимыми ушами.

— Вы идёте служить, — продолжал Куницын. — Служить Отечеству. Не чинам. Не лицам. Не обстоятельствам. Помните об этом. Когда перед вами встанет выбор — выгода или совесть, — вспомните, чему вас учили здесь. И да поможет вам Бог.

Он поклонился и отошёл от кафедры. Аплодисменты бы-

ли сдержанными — так аплодируют тому, кого уважают, но за кого боятся.

Император поднялся.

В зале мгновенно стихло.

Александр Павлович обвёл взглядом строй лицеистов. Он не улыбался. Лицо его, красивое и бледное, было бесстрастным, как маска.

— Господа, — произнёс он негромко, но акустика зала разносила каждое слово. — Поздравляю вас с окончанием наук. Я надеюсь, что вы оправдаете попечение, оказанное вам.

Пауза. Он перевёл дыхание, и всем показалось, что сейчас прозвучит что-то отеческое, тёплое. Но император передумал.

— Служите верно. Будьте достойны своего звания.

Он сел. Аудиенция была окончена.

Пушкин скосил глаза на Пущина. Тот стоял с каменным лицом, но кончики губ подрагивали — он едва сдерживал усмешку. «Служите верно». Как будто им шесть лет твердили что-то другое. Как будто они не знали, что такое верность.

После церемонии, когда император удалился и гости потянулись к выходу, воспитанники выстроились перед кафедрой в последний раз. Но не по ранжиру, не по уставу — просто сбились в кучу, плечом к плечу.

Директор Энгельгардт хотел что-то сказать, но махнул рукой — понял, что сейчас не время.

И тогда запели.

Корсаков и Яковлев вышли вперёд. Голоса их, чистые и юные, взлетели под своды зала:

Шесть лет промчалось, как мечтанье,

В объятьях сладкой тишины...

Это была песня, написанная Дельвигом для них. Для этого дня. Слова, которые они знали наизусть, которые репетировали по вечерам, когда никто не слышал.

И вот уж, други, час прощанья,

И вот уж скрылись вы вдали...

Голоса срывались. Кюхельбекер, стоя во втором ряду, беззвучно плакал — слёзы текли по его длинному некрасивому лицу, и он не вытирал их. Дельвиг пел вместе со всеми, но слова выходили глухо, словно сквозь вату. Пушкин пел, но смотрел поверх голов, в окно, где ветер качал верхушки лип.

Храните, о друзья, храните

Всю ту же дружбу с прежних лет...

Допели. Тишина, наступившая после последнего куплета, была страшнее любой музыки. Профессора молчали. Родители молчали. Даже лакеи у дверей замерли с салфетками в руках.

— Ну, — сказал Пушкин, первым нарушая тишину, — кажется, пора.

Они вышли на крыльцо.

Солнце ослепило. После полумрака зала свет казался жидким золотом, разлитым по всему двору. Кареты, экипажи, лошади, кучера. Родители обнимали сыновей, кто-то уже грузил сундуки, кто-то прощался с надзирателями.

Пушкин стоял чуть поодаль, щурясь на свету. Мундир сидел на нём мешковато — за последние недели он похудел, перестал есть, писал ночами. Волосы, вечно растрёпанные, торчали из-под форменной треуголки, которую он так и не научился носить правильно.

Рядом остановился Пушкин. Минуту они молчали, глядя на суету у подъезда.

— Ну что, Александр? — спросил Пушкин. — Вот и кончилась наша тюрьма. Теперь — воля.

Вечером они собрались в трактире у Сенной.

Место было не аристократическое — дешёвое, прокуренное, с тёмными балками под потолком и сальными свечами на столах. Но сегодня этот трактир принадлежал им одним. Двадцать пять человек заняли длинный стол в углу, сдвинули скамьи, потребовали вина.

Вино принесли. Кислое, красное, в запотевших графинах. Но оно казалось нектаром.

Пили за Лицей. За профессоров. За Куницына — он не пришёл, и это было понятно: ему не следовало пить с выпускниками. Пили за Малиновского, который умер три года назад, но всё ещё стоял перед глазами как живой. Пили за тех, кого уже не было, и за тех, кто ещё будет.

Тосты произносили по очереди. Вольховский — коротко, по-военному: «За службу и Отечество». Горчаков — изящно, с дипломатическим поклоном: «За будущее, которое мы ещё не заслужили, но уже предчувствуем». Яковлев и Корсаков спели что-то застольное, и им подпевали, не попадая в ноты.

Пушкин сидел в конце стола, молчаливый, чуть хмельной. Он смотрел на товарищей, и что-то в его взгляде было такое, что Пущин, заметив это, подсел ближе.

— Ты чего? — спросил он негромко.

— Ничего, — Пушкин покачал головой. — Запомнить хочу.

— Запомнишь. Вся жизнь впереди.

— Жизнь, — Пушкин усмехнулся. — Я хочу жить, Жанно. Понимаешь? Не служить, не выслуживаться, не кланяться. Жить. Писать. Любить. Вот и всё.

Он вдруг встал, постучал ножом по графину. Разговоры стихли.

— Господа, — сказал Пушкин, и голос его прозвучал неожиданно твёрдо, — нас учили умирать за Отечество. Это скучно. Давайте жить за Отечество. Назло казённым перьям

и чинам. Назло всем, кто нас считает по табели. Мы — лицейские. И кто бы кем ни стал — генералом, министром, по-этом, — мы останемся братьями. Выпьем за это.

— За братство! — подхватил Пущин.

— За лицейских! — крикнул Кюхельбекер.

Звон кружек заглушил последние слова. Не хрусталь — дешёвое стекло, с трещинами и сколами. Но Пушкину казалось, что этот звон стоит в ушах до сих пор.

Они вышли из трактира глубокой ночью.

Петербург встретил мокрой мостовой и жёлтым светом фонарей. Где-то вдалеке стучали колёса экипажа, лаяла собака, перекликались сторожа. Город не спал, жил своей ночной жизнью.

— Ты куда теперь? — спросил Пущин.

— В Коллегию иностранных дел. Бумаги перекладывать.

А ты?

— В гвардию.

— Ну, с Богом, — Пушкин вдруг улыбнулся, быстро, по-мальчишески. — Служи верно. Как велели.

Пущин расхохотался. Они обнялись — крепко, до хруста в рёбрах.

— Увидимся, — сказал Пущин.

— Конечно, — ответил Пушкин. — Куда мы денемся.

Он сунул руку в карман. Пальцы нащупали что-то бумаж-

ное. Он вытащил — огрызок лицейского листка, сложенный вчетверо, с неоконченными строчками. Четверостишие, которое он написал сегодня утром, пока все одевались.

Промчались годы заточенья;

Недолго, мирные друзья,

Нам видеть кров уединенья

И царскосельские поля...

Дальше — ничего. Строки обрывались, словно обрезанные ножом.

Пушкин хотел спрятать листок обратно, но порыв ветра вырвал его из пальцев. Бумага взлетела, покружилась над мостовой, упала в лужу. Пушкин шагнул к ней, но остановился.

Чёрт с ним.

Он поднял воротник мундира и зашагал прочь, в темноту, в город, который ещё не знал его имени. За спиной остался трактир, из окон которого всё ещё доносились пьяные голоса. За спиной остался Лицей — шесть лет жизни, уместившиеся в один день. За спиной осталось детство.

Впереди была свобода.

Глава вторая. «Свобода»

Июнь 1817 года — декабрь 1819 года. Санкт-Петербург.

Петербург встретил его запахом.

Не тем, к которому он привык в Царском Селе, — прелой листвы, мокрой земли после дождя, нагретой солнцем хвои. Здесь пахло иначе: гарью сальных свечей, речной сыростью, пудрой, табаком, лошадиным потом и духами. И ещё — чем-то острым, тревожным, чего Пушкин не мог назвать, но чувствовал каждой клеткой. «Так пахнет свобода, — подумал он тогда. — Свобода пахнет тревогой».

Он поселился в доме родителей на Фонтанке, но бывал там редко — только ночевать, да и то не каждую ночь. Отец, Сергей Львович, качал головой, глядя на растрёпанного сына, который являлся под утро, швырял сюртук на стул и падал в постель, не снимая сапог. Мать, Надежда Осиповна, вздыхала и крестилась. Но что они могли поделать? Мальчику семнадцать. Мальчик вырвался на волю. Мальчика уже не удержать.

— Ты бы хоть предупреждал, — говорил отец.

— О чём? — Пушкин искренне не понимал. — О том, что я жив?

Служба в Коллегии иностранных дел оказалась фикцией. Его определили в архив — переключивать бумаги, переписывать ноты, присутствовать. Жалованье — семьсот рублей в год. Смехотворно. Хватало на перчатки и извозчика, да и то не всегда. Но Пушкин и не рассчитывал на жалованье. Он рассчитывал на другое.

На Петербург.

Он ворвался в столичную жизнь, как сквозняк в приоткрытую дверь, — внезапно, резко, заставляя всех поёжиться и обернуться.

В первый месяц его видели везде. В театре — он стоял в партере, окружённый спорщиками, и что-то доказывал, размахивая руками. В Летнем саду — брёл по аллее, читая вслух стихи, и прохожие оборачивались, не понимая, безумен он или гениален. В книжных лавках на Невском — рылся в новинках, ссорился с продавцами, торговался, хотя денег всё равно не было.

Вечерами он пропадал в гостиных.

Это был особый мир — петербургские салоны. Не балы, не официальные приёмы, а именно салоны: полуосвещённые комнаты, где собирались те, кто хотел говорить, а не танцевать. У Карамзина, у Олениных, у Тургеневых — везде были свои кружки, свои правила, свои кумиры. Пушкин входил туда нагло, без приглашения, без рекомендаций — просто потому, что имел что сказать.

И ему позволяли.

— Этот мальчишка, — сказал Карамзин после первого же вечера, — перевернёт всё. Или сломается.

— Не сломается, — ответил Жуковский. — Он из другого теста.

— Из какого же?

— Из того, что переживёт нас всех.

Жуковский ошибся только в одном: Пушкин не пережил их всех. Но об этом пока никто не знал.

Октябрь 1817 года. Типичный вечер.

Пушкин проснулся в пятом часу пополудни на чужой квартире. Чьей именно — не сразу вспомнил. Кажется, Нащокина. Или Корсакова. Или кого-то из новых знакомых, которых он приобрёл за эти месяцы десятками. Лежал на диване, укрытый чужой шинелью, и смотрел в потолок. В голове шумело. Во рту — вкус вчерашнего шампанского, которое пили из чьей-то туфли. Чьей — тоже не помнил.

— Александр, ты живой? — голос Нащокина донёсся из соседней комнаты.

— Не уверен, — отозвался Пушкин. — Подай воды.

Нащокин вошёл, уже одетый, свежий, с усмешкой на губах. Павел Воинович Нащокин — картёжник, мот, добрейшей души человек. Они познакомились месяц назад и сразу сошлись — словно знали друг друга всегда.

— Сегодня у Карамзиных вечер, — сказал Нащокин, протягивая стакан. — Ты обещал быть.

— Я всем обещал быть.

— И у Тургеневых тоже.

— Также обещал.

— И ещё ты кому-то обещал дуэль. Но я не расслышал кому.

— Это подождёт, — Пушкин сел, поморщился, выпил воду. — Дуэль — это серьёзно. А вечер — это святое.

Через час он был на ногах. Умылся ледяной водой, одёрнул сюртук — тот самый, лицейский, который уже заметно пообносился. Манжета снова отпорота, но зашивать было некогда. Да и незачем — всё равно к утру будет новый сюртук, новый карточный долг, новая дуэль. Или не будет. Какая разница?

Нащокин подвёз его до дома Карамзиных на набережной Фонтанки.

У Карамзиных было тесно и душно.

В гостиной, обставленной со вкусом, но без роскоши, собралось человек тридцать. Горели свечи, топился камин, пахло воском и чаем. Дамы сидели на диванах, кавалеры стояли вдоль стен, кто-то курил у приоткрытого окна. Разговоры шли вполголоса — о политике, о Франции, о новой книге мадам де Сталь, которую ещё не перевели, но уже обсуждали.

Николай Михайлович Карамзин, историограф, писатель, человек с усталым лицом и умными, всё понимающими глазами, сидел в кресле у камина. Ему нездоровилось, он кутался в плед, но гостей принимал — не мог иначе.

Пушкин вошёл стремительно, раскланялся, поцеловал руку хозяйке, перекинулся парой слов с Жуковским. И сразу

— в центр, в гущу, туда, где спорили о чём-то до хрипоты.
Спорили о государе.

Осторожно, намёками — как спорили в те годы. Иносказательно, но все понимали, о чём речь. О конституции, которую император обещал, но не дал. О военных поселениях, которые называли «аракчеевщиной». О Польше, которой даровали свободу, а своей стране — нет.

Пушкин слушал. Молчал. И вдруг — встрял.

— Вы говорите о свободе так, будто это модный сюртук, — сказал он, и все обернулись. — Примеряете: идёт — не идёт. А свобода, господа, она не снаружи. Она внутри. Если внутри раб, то и конституция не поможет.

Повисла пауза. Кто-то засмеялся нервно. Кто-то нахмурился.

— Мальчишка, — шепнул кто-то в углу.

Карамзин поднял глаза от камина.

— Внутри, говорите? — переспросил он тихо. — Любопытно. Продолжайте.

Пушкин оглядел собравшихся. Бледные лица дам, настоженные взгляды мужчин. Он понял, что сказал лишнее. И понял, что не жалеет.

— В другой раз, Николай Михайлович, — он улыбнулся. — Я сегодня не в духе для философии. Лучше стихи читаю.

— Читайте, — разрешил Карамзин. — Стихи — это тоже философия.

И он прочитал «Вольность».

Ту самую оду, которую написал на днях, ночью, на квартире у Тургеневых. Читал впервые, и голос его, сперва неуверенный, крепчал с каждой строфой. Слова падали в тишину, как камни в воду:

Питомцы ветреной судьбы,

Тираны мира! трепещите!

А вы, мужайтесь и внемлите,

Восстаньте, падшие рабы!

Когда он закончил, тишина стояла звенящая. Не аплодисменты — тишина, в которой слышно было, как потрескивают дрова в камине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.